



Марсель Прево

КУКОЛКА

Повести
о любви

Седмая Книга



Марсель Прево
Куколка (сборник)

«Седьмая книга»

Прево М.

Куколка (сборник) / М. Прево — «Седьмая книга»,

Сборник повестей о любви признанного мастера любовно-психологических произведений, французского писателя Марселя Прево. Повести Прево посвящены проблемам взаимоотношений полов, – исследуют, преимущественно, женщину, открывая читателю самые потаенные уголки ее души и сердца. В сборник Марселя Прево включены роскошные повести о любви – «Сладкоежка», «Желтое домино» и «Куколка».

Содержание

Сладкоежка	6
Глава 1	6
Глава 2	9
Глава 3	14
Глава 4	19
Глава 5	22
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Марсель Прево

Куколка (сборник)

Повести о любви

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Сладкоежка

Глава 1

Дипломатическая служба при иностранных посольствах обычно считается у нас лучшей рекомендацией для молодых людей из хорошей семьи; граф Жан де Герсель, унаследовавший от отца в двадцать пять лет большое состояние, решил, что несколько месяцев такой службы совершенно достаточно и что отныне он может посвятить свое время клубам Парижа и спорту. Третья республика, которая сначала как будто соответствовала его вкусам, теперь принимала дурной оборот. Герсель не собирался служить такому правительству, которое все более и более резко порывало с дорогими ему традициями.

Он вернулся в свой круг, как говорил не без иронии, считая в сущности, что он, после того как был несколько «declassé», теперь вновь поднимается до своего истинного круга.

Эта новая жизнь продолжалась восемнадцать лет, настолько педантически похожих, друг на друга, что Жан де Герсель сильно затруднился бы сказать, который из них показался ему самым худшим, который – лучшим. Каждый из них вязал в снопы дни, похожие друг на друга, как колос на колос. Ни одного незанятого дня: наоборот, де Герсель принадлежал к числу тех парижан, которые могут утверждать, что у них нет «ни часочка для самих себя».

В современном обществе, столь индивидуалистичном, люди, которым суд равных отводит важное место в истинном «свете», бывают единственными, кто умеет строго дисциплинировать свою жизнь. Каждый сезон заставляет их переезжать и предлагает им развлечения так же повелительно, как какая-нибудь профессия – обязанности.

Де Герсель числился в комитете одного из больших скаковых обществ и кончил тем, что стал там председательствовать. Его стрельба славилась: в сезон охоты устроители охот оспаривали его друг у друга. Во время своей дипломатической юности он тесно сошелся с членом царствующего дома одного из немецких владений. Эрцгерцог частенько наезжал в Париж: во время его пребывания там де Герсель не принадлежал себе. Интересуясь произведениями искусства, насколько это подобает человеку из «общества», он законно претендовал на то, что ему не остается неизвестной ни вещь, имевшая успех, ни выставка, достойная внимания. Страсть к игре никогда не овладевала им; но он признавал, что человек известного круга, никогда не сделавший ни одной ставки, создает себе досадную репутацию экономного благоразумия. Эту страсть к непомерным тратам он вложил в свою благотворительность так же, как и в оказание услуг своим политическим симпатиям, хотя ни политика, ни благотворительность не стали для него предметами хвастовства. Всего этого достаточно, чтобы заполнить жизнь многих людей благородного происхождения, вынужденных быть в стороне от общественных дел.

В течение этих восемнадцати лет, которые он провел в Париже, постоянно проживая в одном и том же маленьком отеле на rue d'Elisee, которому подъезд с колоннадой придавал вид английского жилища, граф де Герсель занимался другими делами, более секретными, чем политика, спорт, искусство или проблемы общества, хотя в то же время делами не совсем таинственными. Его считали и называли соблазнителем, человеком, признаваемым женщинами за одного из своих законных властелинов, в отличие от обыкновенных людей, владычеству которых женщины подчиняются только по необходимости. Этот тип становится редким в обществе, спешащем насладиться жизнью, шумком, волнуемом, нескромном, где все чаще, из-за недостатка свободного времени, любовный случай заменяет выбор. Прибавьте, что это современное общество главным образом, объято страстью к реальности, и что Дон-Жуан, Ловелас, Вальмонт являются если не идеалистами, то, по крайней мере, людьми, страдавшими легкой возбудимостью. Кроме того, вследствие естественной эволюции нравов тип человека, имею-

щего легкий успех, еще многочисленный во времена Второй империи, мало-помалу пропал при Третьей республике. Правда театр, зеркало этих новых нравов, иногда представляет нам кое-какие типы мужчин, которые принимают последовательно в свою жизнь различных «пассажиров», но редко человека, страдающего и воспламеняющегося страстной жадной непрерывно испытывать свое счастье в обладании женщинами.

Де Герсель сам по себе не был такой несколько романтической личностью, но в то же время он был и более чем заурядный искатель приключений. То несколько фатальное, что, как бы помимо их самих, руководило жизнями великих соблазнительщиков прошлого, внушало им заботу, как бы болезненную страсть, заставить одну женскую волю подчинить себе после другой; внушало любопытство перед тем новым существом, всегда различным, каким является женщина, которой коснулась любовь, возвеличивает ли она ее, или принижает...

Какой бы тайной не окружал свою жизнь человек, объятый подобной мечтой, но кое-какие признаки всегда выдают его своим современникам, и обычное мнение, как мужчин, так и женщин складывается не в его пользу. Кроме опрятности жизни у де Герселя был, вероятно, драгоценный дар непоколебимой твердостью манер настолько импонировать массе, что по отношению к нему никогда не проявлялась обычная антипатия толпы к соблазнительщикам. Не говоря никогда о своих приключениях, де Герсель не допускал ни малейшего намека на них; тех, кто решался хотя бы на самые безобидные, он призывал к порядку таким способом, который мог обескуражить подражателей. Так граф достиг сорок третьего года своей жизни: его высокому положению в свете ничто не угрожало и никто не оспаривал его. Даже в конце этого продолжительного времени он все еще слыл соблазнительщиком: его имя было на устах современных парижан, в числе тех двух-трех, олицетворяющих власть, которую их пол может в лице привилегированных экземпляров иметь над другим полом.

Де Герсель знал это, до известной степени гордился этим, и хотя, конечно, не сообщал об этом никому, но проницательный наблюдатель мог бы угадать это по тому, как охотно он говорил о своих годах. И, действительно, победа, которую его сильный организм одерживал над временем, служила для него источником тайной радости. Не потому, что у него было то, что называется «юношеским видом»: он не любил молодых людей и совершенно не желал походить на них. Но после его тридцатилетия можно было бы сказать, что годы скользили по нему, не оставляя своего следа. Привычка к спорту и та суровая гигиена, которую соблюдают только страстные любители женщин, предохранили его от полноты; благодаря своей стройности он казался несколько выше среднего роста. Волосы пышно окружали его голову, небольшую, но сильно выпуклую спереди и посаженную на худощавую шею; нужно было приглядываться к нему, чтобы увидеть несколько седых нитей в его темно-русой шевелюре, полной силы, блестящей, волнистой. Лицо, как почти у всех соблазнительщиков, не имело никакой классической красоты: оно не было даже правильным. «Лоб низкий, глаза карие, нос прямой», с точной откровенностью говорилось в охотничьем билете графа. Он прибавлял еще: «рот средний», что недостаточно выражало действительную прелесть этих сильных губ точного рисунка, хорошо видимых под более светлыми, чем волосы, усами и открывающихся при случае прекрасные, блестящие зубы, те зубы, которые при открывании рта оставляют след белизны. Цвет лица – без блеска, но удивительно ровный, внушавший завистникам предположение, что он был «стерилизован». Ни одной морщинки ни на лбу, ни около рта: только глаза подчеркивались той легкой, тонкой синевою, которая, по убеждению физиологов, выдает сладострастников. Руки были малы и изящны. Вся фигура выражала силу, сдерживаемую добротой без излишеств, добротой умеренной, насколько это нужно.

Подобные мужчины нравятся всем женщинам без исключения; но те, которые сердятся на них за то, что не были замечены ими, считают за благо уверять, что они и не красивы, и не любезны. Мало заботясь о том, чтобы его считали красивым, граф де Герсель боялся, чтобы его не находили «любезным». Его обращение было вежливым и сдержанным. Холодно вежливый

с мужчинами, он, по изображению женщин, любивших его и державших рассказывать об этом, был любовником повелительным и нежным, не особенно любящим говорить комплименты, но обладающим двумя добродетелями, которые женщины ценят более всего: темпераментом, способным утомить самую пылкую страсть, и той расточительностью, которая облакает любовь блеском феерии... Тем не менее, когда кто-нибудь из профессиональных сплетников, которых можно встретить в каждом салоне Парижа, пробовал заставить какую-либо из них рассказать, почему вечная любовь с тысячью ее способами, становилась для нее обновленной и возрожденной тоща, когда ее возлюбленным становился граф де Герсель, он не мог получить точный ответ. Нервных женщин передергивала дрожь, лимфатические улыбались. Одна из рассудительных нашла такое объяснение: «Де Герсель – сентиментальный сладкоежка и сладострастник», и тоном опытной женщины прибавила: «Редкое качество!»

Глава 2

Уже восемнадцать лет граф де Герсель вел жизнь светского человека, которая похожа на пламя, пока ею живешь, и на пепел, когда она прожита. И вот однажды утром, пока лакей Виктор причесывал его, он прочел следующее, найденное в своей почте письмо, окаймленное черным бордюром и помеченное «Фуршеттери», – именем обширного охотничьего поместья, которым он владел в Солонье.

*«Ла Фуришеттери, через Милансей (Лаур-эт-Шер)
23-го марта*

Господин граф!

С прискорбием извещаю Вас, что мой дорогой отец, Августин Дерэм, скончался сегодня в два часа пополудни. Мы потеряли его неожиданно: он возвращался с осмотра работы каменщиков, начатой на ферме в Виллеморе. Удушливая жара без сомнения вызвала прилив крови. Едва только вошел он в столовую, где была мать, как свалился на пол. Мать позвала меня; я была в своей комнате, где как раз проверяла сметы подрядчика из Виллемора. Я быстро сошла с лестницы, побежала в столовую. Увы! отец даже не узнал меня.

Погребение состоится завтра в Милансей. Мы были бы очень польщены, господин граф, если бы Вы могли присутствовать при этом; но мы хорошо понимаем – и я, и мать, – что Ваши занятия помешают этому.

Теперь, господин граф, у меня есть к Вам просьба, и нужно было, чтобы предмет ее был достаточно важным, раз я нашла силы писать Вам о ней в эту горестную минуту. Но это слишком спешно и важно, чтобы я оказалась первой.

Отец оставил нас, меня и мою мать, без всяких средств; он был вовлечен одним из своих друзей в биржевые спекуляции, которые поглотили все наше состояние и весь его заработок. Моя мать, зрение которой в последние два года еще более ослабло, уже не может больше заниматься кропотливым трудом, которым она так отличалась: починкой старых кружев. Я должна зарабатывать на хлеб ей и в то же время и себе.

Я могла бы заняться каким-нибудь делом или даже преподаванием, так как получила высшее образование. Это было моим проектом при жизни отца. Но служба, учительство – все это в начале, почти нищенство, и нужда задавить нас. И вот мне пришла такая мысль, которую я позволю себе предложить Вам, господин граф. Уже давно я помогала отцу управлять Вашим поместьем. Я выросла в Фуршеттери: мне кажется, что я знаю лучше кого бы то ни было и положение вещей, и служебный персонал. Бедный отец поручил мне ведение всех счетов; себе он оставил только сведение балансов и переписку с Вами. Позвольте мне попробовать заменить его. Вознаграждение мое будет, разумеется, меньше отцовского; но и у меня, и у матери потребности невелики. Если Вы полагаете, что молодая девушка двадцати двух лет не может быть официально назначена управляющим землями такой важности, как Фуршеттери, заместите формально отца матерью. Что касается фактического управления, то уверяю Вас, господин граф, что никто в имении не удивится, узнав, что я занимаюсь его делами, так как (теперь я могу засвидетельствовать это) от этого ничего не изменится. Мой бедный отец так мучился несчастными коммерческими спекуляциями, что все четыре года его голова не годилась ни на что.

Господин граф, я умоляю Вас, прежде чем Вы решите так или иначе вопрос о заместителе моего отца, попробуйте ту комбинацию, которую я предлагаю Вам. Вы скоро будете убеждены, что это – как раз та комбинация, которая лучше всего способна оградить Ваши интересы, а вместе с тем позволит мне заниматься наиболее для меня пригодным и привлекательным трудом. Это, наконец, даст мне возможность избежать забот о переезде матери в ее годы и с ее болезнями. Из уважения к моему отцу, умершему на Вашей службе, сделайте мне милость испытайте меня!

В надежде на благоприятный ответ я прошу Вас, господин граф, верить преданной Вам слуге
Генриетте Дерэм».

– Виктор, знаете ли, старик Дерэм вчера умер? – спросил граф, откладывая письмо.

Лакей удержал на весу около выбритых щек щипцы, которые он только что нагрел, чтобы завить усы своему господину:

– Дерэм умер? Ей-ей, это – новость, господин граф. А отчего он умер?

– От кровоизлияния в мозг, я думаю... Он свалился, как сноп, в столовой, когда пришел из Виллемора.

Виктор сделал плечами жест, который без сомнения должен был означать: жизнь брэнна. Потом, в то время как его щипцы приподнимали белокурые кончики графских усов, он про-бормотал тем безразличным тоном, какой умел принимать, когда высказывал такое убеждение, которое способно было вызвать возражения со стороны хозяина:

– В конце концов, он был славным парнем этот старик Дерэм.

– Славный парень, который обкрадывал меня, – пробурчал де Герсель, почти не двигая губами, так как щипцы все еще были на усах.

Виктор усмехнулся:

– А, господин граф знали это!

– Да он и не старался особенно стесняться... особенно в последние годы...

Виктор, укладывавший щипцы и достававший пульверизатор, сказал:

– И господин граф держали его из доброты.

– Нет, из лени. Это так несносно менять! Довольно, довольно, Виктор... Теперь вытрите! – И, сам вытирая с лица душистые капли, Герсель прибавил:

– В сущности, дело у него шло хорошо; имение было вполне в порядке. Он мошенничал, вот и все; без этого он был бы совершенством.

– Господин граф знает, что всем там вертела девочка? О, это тонкая штука! Если бы старик давал ей сводить счета, то никто никогда и не заметил бы мошенничества.

Не сумев объяснить себе, почему де Герсель почувствовал, что ему стало очень неприятно от последнего замечания лакея.

Виктор, который читал в выражении лица своего хозяина, словно в хорошо знакомой книге, сейчас же заметил это и прибавил отеческим тоном:

– Впрочем, девочку не в чем упрекнуть. Она умна и энергична – вот и все. К слову сказать, никто не понимает, почему она не вышла замуж. Говорили, что молодой Бурген, хозяин маленького поместья в Тейлье, сильно зарился на нее, и все-таки ничего не вышло...

Однако, почувствовав, что его фразы падают словно в пустое пространство, он замолчал. Туалет был завершен в молчании.

Жан де Герсель должен был в это утро завтракать в клубе, потом зайти за двумя молодыми дамами из высшей промышленной буржуазии, чтобы повести их на выставку английских портретов XVIII столетия. Так как для них появиться вместе с ним было социальным повышением, то они готовы были заплатить за такое преимущество всем, что могли предложить луч-

шего: самими собой. Перед выходом он прошел в свой рабочий кабинет и наскоро закончил свою корреспонденцию.

Потом он снова взял письмо Генриетты Дерэм, перечел его и принялся размышлять.

Каждое женское письмо, как и каждая женская личность – при условии, что женщина не вышла из возраста любви – возбуждало в нем тайную симпатию, вызывало приступ нежности, стыдливое желание нравиться, желание давать счастье или становиться для этой частицы вечно женственного, человеком особенным из всех прочих мужчин то есть особое беспокойство, и мучительное, и вместе с тем сладострастное, которым он наслаждался медленно, как знаток и все сильнее, по мере того, как шли годы. Он посмотрел на подпись письма: «Генриетта Дерэм». Эти два слова до сих пор не вызывали у него ничего, кроме смутного облика. Худенькая и имевшая отчасти вид мальчишки в юбке «девочка управляющего» до своих двадцати лет слыла некрасивой. Лицо, довольно правильное, было испорчено тусклым цветом лица и бледными губами, но это подчеркивало живость темно-голубых глаз и блеск темных волос, блестящих, словно палисандр. Обитатели Милансей охотно противопоставляли эту странную девчонку ее матери, которая была очень красива и еще сохраняла теперь следы былой красоты. Не сделав Генриетты хорошенькой, двадцатый год смягчил неуклюжесть ее внешности и развернул все, что было в ней привлекательного. Цвет ее лица стал живее, выровнялся; бледная немочь не бледнила более губ; корсаж слегка вздулся, но грациозно, крепко: и этот строгий и изящный рисунок бюста настолько был в контрасте с остальной фигурой, напоминавшей юношу, что не мог остаться незамеченным...

Де Герсель заметил это превращение во время своей последней охоты в Фуршеттери; временами он несколько мгновений следил за свободной походкой Генриетты; но он не помнил, чтобы когда-нибудь сказал ей хоть слово. Злоупотребления Дерэма, которые он открыл за несколько лет до этого и которые продолжались и росли год за годом, делали ему антипатичной всю ту семью, которую он считал соучастницей. Генриетта, в частности, казалось, безмолвно подтверждала свое соучастие очевидной заботой встречаться с де Герселем как можно реже. Она явно избегала его, в то время как управляющий и его жена соперничали в рабской услужливости перед хозяином.

– А ведь недурно написано письмо этой девочки! – бормотал граф, перечитывая первые попавшиеся ему строки. – И главное, что в ней хорошо – это то, что она не ноет и не пускается в литературу. А потом она и в самом деле сумела избежать пошлости.

Он принялся перечитывать письмо от начала до конца и не мог удержаться, чтобы не улыбнуться. Августин Дерэм писал ему всегда в третьем лице: «Не желает ли господин граф... Свидетельствую господину графу свое почтение...» Его дочь с первого шага уничтожила этот обычай, говоря «Вы» своему хозяину. Вплоть до ее манеры подписываться: «Ваша преданная слуга» – письмо имело вид независимости под личиной покорности: это было приветствием из комедии... Де Герселя забавляло угадывать личность, проявляющуюся по этим признакам, и для него смутный облик дочери покойного управляющего стал все более и более вырисовываться в определенный образ.

«У нее есть известная повелительная манера подавать прошение; ясно чувствуется, что она не допустит отказа. Мадемуазель Дерэм, без сомнения, – молодая особа нового образца из рода феминисток, приветствующая равенство полов, реформу гражданского права...»

По привычке внимательно исследовать все, что касается женщин, де Герсель поднес окаймленную черным бордюром бумагу к своим ноздрям. От нее отделился нежный запах фиалок. Ничто так не выдает женолюбцам женщину, как аромат. Герсель вспомнил облаву последней зимы, когда однажды утром, входя, чтобы согреться, на ферму Виллемор, он очутился на пороге лицом к лицу с Генриеттой Дерэм. Живость ее голубых глаз и контраст между бледностью ее лица и темным цветом волос поразили его так же, как и изящная талия, которую он угадывал под накидкой. Генриетта показалась смущенной и инстинктивно сделала жест, как бы

желая свернуть с дороги. Потом она одумалась и прошла, отвечая на приветствие графа кивком головы. Этот жест не понравился графу, и он сказал себе тогда: «Эта, по крайней мере, хоть не притворяется...» Но он почувствовал вслед за молодой девушкой струю того самого запаха фиалок» который отделялся теперь от этого листка бумаги, окаймленного черным бордюром.

– Только подумать, – бормотал граф, – что во времена моего детства жена управляющего была чем-то в роде служанки в чепце, не умела читать и звала моего отца «господин граф, наш добрый господин». Я. достаточно прожил, чтобы видеть это, и видеть также Генриетту Дерэм, которая одевается, как дама, пишет правильно и на отличной бумаге, которую она душил фиалками, письма, почти такие же любезные, какие могла бы написать девушка моего круга, обращаясь ко мне с просьбой. Ба!.. что же делать? Ни к чему не послужило бы желание остановить паровоз. Эта девочка – дитя своего времени!.. Скучно то, что она украдет у меня втрое больше, чем ее отец; ведь Виктор прав – она хитра.

Граф снова задумался на несколько минут, прежде чем ответить на письмо Генриетты. В сущности, он решил принять ее предложение. Он делал это из лени, из боязни перемен и неожиданностей, как он говорил своему лакею, но также, и главным образом, из любопытства, хотя моралист не назвал бы этого любопытства совершенно здоровым. Насмотревшись на массу побежденных им женщин, победитель невольно лишается уважения к тому, что считают моралью в любви. Соблазнитель подчиняет себе мораль согласно своим инстинктам, как общество подчиняет ее согласно своим интересам. Де Герсель не верил в то, что в любви могут быть добро и зло. Он верил, что любовь является актом, который сам по себе безразличен, но социальные последствия которого могут случайно привести к добру и злу; однако, доверяясь своему инстинкту, он старался не сеять зла вокруг себя.

Думая о Генриетте Дерэм, он был бы самим собой, если бы не останавливался на физическом облике молодой девушки; но он не чувствовал никакого желания и, главное, не строил никаких планов соблазнить ее. Несмотря на манеру держаться «дамой» и форму ее письма, Генриетта Дерэм постоянно представлялась ему дочерью его слуг: старика Августина, ходившего в деревянных башмаках, имевшего грязные ногти и крившего; старухи Дерэм, следившей за завтраками охотников с кухонным передником на животе и лицом, опаленным пламенем кухонной печи. А Герсель, этот современный Дон-Жуан, не особенно одобрял служанок. Но его любопытство к Генриетте Дерэм возбуждала тайна ее женского облика, который казался ему издали образом нового типа женщины: модернизированной, возвышающейся мещанки.

Он отлично сумел бы заставить ее разговариваться, разобрать ее разум и сердце, как умел разобрать механические части автомобиля. У нее, без сомнения, был любовник, и поэтому она не хочет выходить замуж. Во всем этом будет очень забавно разобраться, если только когда-нибудь у него найдется свободное время на это.

«И потом, – подумал он, – мне больше нравится разбираться в счетах с глазу на глаз с умеющей держать себя двадцатитрехлетней девушкой, чем с этим животным Августином, от которого несло потом и трубкой».

Наконец граф признался себе, что гораздо дольше оспаривал бы мысль оставить Генриетту Дерэм в должности управляющего, если бы она была бы уродливой старой девой или если бы письмо было написано ее матерью.

Английские часы, помещенные в одном из углов кабинета, звонко пробили двенадцать. Виктор вошел с докладом, что автомобиль подан. Когда граф снова остался один, он написал следующее письмо, забавляясь преувеличенной вежливостью:

«Мадемуазель!

Умоляю Вас принять выражения моего горестного сочувствия постигшему Вас горю, которое лишило меня сотрудника, оцененного мною по достоинству. Если бы я был предупрежден вчера вечером, то, конечно,

устроился бы так, чтобы присутствовать на печальной церемонии, в чем прошу уверить Вашу матушку, чтобы она извинила меня.

Ваше письмо самым решительным образом показывает мне, насколько мои интересы совпадают с Вашим желанием. Поэтому мне остается только поблагодарить Вас за желание оставить за собой бремя забот, с которым Вы с такой ловкостью справляетесь уже четыре года. Разумеется, я не вижу никакого основания уменьшать вознаграждение за управление, которое меняется только по имени.

Я найду возможность провести несколько дней в Фуршеттери в середине будущей недели. Если Вам будет возможно привести к этому времени счета в порядок, то я воспользуюсь своим пребыванием там, чтобы официально передать в Ваши руки обязанности по управлению.

Благоволите, сударыня, передать госпоже Дерэм и принять лично выражение моего сожаления и уважения.

Герсель»

– Вот и ладно, – бормотал граф, перечитывая письмо. – Если уж быть обворованным, так уж лучше женщиной, приятной на вид. Но мне было бы неприятно, если бы она приняла меня за болвана.

Он отправился позавтракать в клуб и провел остаток послеобеденного времени с двумя молодыми женщинами, которых обещал сводить на выставку английских портретов XVIII столетия. Они позабавили его наивностью своего снобизма.

«Эти лживые мешанки, – думал он, – хуже, чем самые тщеславные из нашего круга. Они дурно играют комедию аристократизма, и их неловкая игра подчеркивает в наших глазах наши собственные странности. Они – наши илоты».

Однако одна из них, мадам Фуше-Дегар, – родом левантинка, муж которой богатый коммерсант был главным образом известен, как коллекционер саксонского фарфора, – обладала и молодостью, и пикантностью, и известной шаловливостью ума, который заставлял ее время от времени издеваться над собственным снобизмом. Кроме того, она показалась графу интересной с полным отсутствием понятий о нравственности, которое выдавал ее разговор. Ни религии, ни философии – ничего: анархия. Случай довольно частый среди иностранцев, отравляемых Парижем. Герсель договорился увидеться с ней послезавтра, но вечером, ложась в постель и отдаваясь своим ежедневным размышлениям, он констатировал в себя с некоторых пор все усиливающееся желание скрыться из Парижа. В разговорах с самим собой он называл этот припадок отвращения: крах женщин. Это разрешалось внезапным путешествием – недели две в Италии, неделя в Голландии или просто – в период охот – несколькими днями чисто деревенской жизни в Фуршеттери, жизнью охотника и землевладельца, который видит только мужиков да оскотинившихся поселян.

Он порылся в своем календаре.

«Сегодня среда... В воскресенье скачки в Отейле. В будущий вторник праздник у Ласерад и я не могу не быть там, так как заставил пригласить эту крошку Фуше-Дегар, которая никого не будет знать там... Через неделю я уж могу лечь спать в Фуршеттери».

И он сладострастно отдался тоске по лесам Солоньи, по лугам, которые весна делает такими душистыми, по прудам, которые дремлют в камышах. Он сделает несколько выстрелов в парке, который был огорожен, убьет хоть кроликов... Он покружится на лошади по лесным дорогам Брюдана, сплошь усыпанными засохшими иглами. Наконец он развлечется в исследовании маленькой души, смущенной и мятежной, которую он угадывал в Генриетте Дерэм, своем новом управляющем.

Глава 3

Через неделю Жан де Герсель, в высоких сапогах, гетрах, солидном охотничьем костюме и фетровой шляпе, разговаривал со своим сторожем Денисом, сидя вместе с ним на берегу пруда в Тейльи. Это было на склоне великолепного мартовского, истинно весеннего дня: граф устроил кроликам такое побоище, что, наконец, устал смотреть, как кувыркаются среди папоротников и еловых шишек их белые спинки, и слушать однообразные возгласы Дениса: «Вот он! Господин граф может сказать, что не промахнулся». Теперь с папироской в зубах он смотрел на словно полинявшую перламутровую гладь пруда, вздвухшегося от зимних дождей до того, что прибрежные тростники были затоплены почти до верха. Сосны и дубы средней величины окаймляли пруд темной рамкой. Из-за деревьев противоположного берега показались верхушки двух башен, украшенные цинковыми орнаментами. Граф скрутил папироску. Денис спросил и получил разрешение закурить свою трубку.

Это был худой и вместе с тем коренастый человек с лицом, сожженным солнцем и испещренным настолько глубокими морщинами, что они казались черными рубцами на коже. Длинные седые усы нависали слева и справа на, рот, в котором оставалось уже мало зубов. У него были карие пронизательные, собачьи глаза. В разговоре ясно слышался мужицкий выговор. Герсель с удовольствием наслаждался бы в молчании печальным очарованием сумерек, спускавшихся на мрачный лес и неподвижный пруд. Но Денис был болтуном: впрочем он даже счел бы за недостаток уважения не занимать барина разговором.

– Видите, господин граф, как сверкают из-за дубов башни господина Бургена? Лучи заката ложатся прямо на цинк. Можно сказать – два фонаря.

Герсель знаком выразил одобрение.

– С тех пор как он похоронил старуху-мать, которая была, однако довольно-таки несносной, да выдал сестру замуж в Орлеан, этот молодой Бурген, должно быть, порядком-таки скучает там у себя. Славный он парень и, можно сказать, слишком хорошо воспитанный... настолько, что бросил учиться и предпочел водиться с окрестными господами. Конечно, сын бакалейщика из Ненга не может же завязать связи с людьми из общества... Сюда, Пуф!.. И молчать!

Пуф, большая белая собака с желтыми подпалинами, внезапно вскочившая и залаявшая на пруд, поворчала еще минутку и разлеглась затем на засохшей траве, положив нос на лапы и закрыв один глаз.

– Что ты за шуками, что ли, охотишься, чучело!.. – закричал ей Денис.

Герсель подумал: «Насколько простолюдины, как только начинают смотреть на себя, как на принадлежащих к большому дому, становятся нетерпимы к народу и начинают более нас самих заботиться о наших привилегиях. Прежний социальный строй зиждился на строгом договоре между малыми и великими. Теперь договор уничтожен. Вместо соединенных групп, составленных из единения малых с великими, теперь существует могущественный синдикат малых против великих. Денис – это исключение, потому что он отчасти живет моей жизнью, да и в общем охота дает нам равенство, как было прежде между феодалом и его солдатами».

После этого граф спросил:

– У него есть состояние, у этого Бургена?

– О, небольшой достаток. Дом и земля оцениваются тысяч в сто франков. Говорят, что мать оставила ему бумаг почти на столько же.

Граф улыбнулся. Все то же отождествление господина и раба. Денис, у которого за душой не было и пяти франков, презрительно говорил о двухстах тысячах франках молодого Бургена, так как, говоря об этом, он возвышается до двух миллионов графа своего барина.

Денис продолжал свои пересуды о молодом Бургене.

– В конце концов, это поместье Тейльи очень миленькое со своим прудом, лесом, домом. Там можно чувствовать себя маленьким властелином. И если бы хозяин был из хорошего семейства, то он мог бы принимать все окрестное общество и охотиться в соседних поместьях. Ну, а надо признаться, что, будучи всегда один или с несколькими родственниками из Ненга, такими же купцами, как и его отец, он не очень-то развлекается. Говорят, будто он подумывает продать свое поместье. Господину графу следовало бы купить: в пруду водится рыба... И потом, когда гонят по Виллемору, то она спасается в Тейльи... и таким образом господин граф устроит загон для Бургена.

Уже несколько раз Денис возвращался к этой возможности купить имение Тейльи.

Герсель поднялся на ноги, взял свое оружие. Пуф с веселым лаем скакал вокруг своего хозяина.

– Идем, – сказал граф, – ужинать, Денис!

Оба зашагали по тропинке, которая шла лесом к дороге из Верну в Милансей. Когда они вышли на дорогу, то Денис, который не так-то легко отказывался от какой-нибудь мысли, снова заговорил о Бургене.

– Если господин граф решится купить Тейльи... Я не собираюсь давать советы, но лучше бы поторопиться: молодой Бурген холостяк; если он женится, особенно в этих краях, то его жена, может быть, и не захочет расстаться с имением.

– А разве он собирается жениться? – спросил Герсель, который, как и все землевладельцы, вступив на свою землю, только и мечтает, что о ее расширении.

Денис открыл перед хозяином белую калитку, которая вела в парк Фуршеттери со стороны дороги. Ночь под сенью деревьев парка казалась темной. Но и барин, и сторож знали дорогу настолько же уверенно, как и Пуф, который мелкими шажками бежал впереди них, изредка обнюхивая землю. Затем и огни замка начали мелькать между ветвями.

Денис принялся рассказывать теперь, понижая голос, точно доверяя де Герселю дипломатическую тайну, о том, что молодой Бурген уже два раза просил руки Генриетты, при жизни матери и когда остался сиротой; что отец и мать Дерэм с радостью были бы согласны, найдя, что для девочки это была отличная партия; что девочка отказала без объяснения причин, за исключением той, что она не хотела выходить замуж; что это необъяснимо, так как Бурген – ловкий парень двадцати шести лет, солидный, приятный на вид, к тому же хорошо воспитанный.

Хозяин и сторож дошли до порога замка. Герсель оборвал разглагольствования Дениса:

– До завтра, Денис... Я буду готов в семь часов.

Он вошел в дом, прошел через бильярдную и очутился в передней. Виктор, ожидавший его, взял у него ружье и шляпу.

– Господину графу нечего сказать барышне Дерэм?

– Нет... или, пожалуй, да. Где она?

– В маленьком кабинете.

Маленький кабинет, по соседству со столовой, служил графу для приема фермеров, поставщиков, всех визитеров, которые не имели доступа в гостиную. Дойдя до двери, Герсель увидел, что она была полуоткрыта; через щель он увидел Генриетту Дерэм, сидевшую в кожаном кресле, руки ее были беспомощно вытянуты на коленях. Лампа, поставленная на соседний стол, освещала ее фигуру, еще более бледную, чем всегда, в рамке черного кресла. Она не плакала, не двигалась, но ее лицо выражало отчаяние. И она задумалась так глубоко, что не слышала приближавшихся шагов. Ее слегка передернуло, когда де Герсель вошел. Она сейчас же овладела собой и встала.

– Сударыня, – любезно сказал граф, – мне сказали, что вы ждете меня. Я надеюсь, что не очень запоздал?

Не отвечая на эту вежливость, Генриетта Дерэм сказала:

– Я просто хотела, господин граф, спросить от имени подрядчика, надо ли сруб конюшни на ферме в Виллемеоре переделать, надстроив сверху сенник, как было договорено, или поправить ее так, как она была.

– Какого вы мнения об этом?

– Я думаю, что сенник оказался бы полезным. Берто не знает, куда девать свое сено и люцерну, когда урожай бывает выше среднего. Но это вызовет лишний расход в тысячу триста франков.

– Ну, что же, пусть сделают сенник!

– Есть у вас распоряжения на завтра, господин граф?

– Нет, я полагаюсь на вас. Как поживает ваша матушка?

– Она очень устала.

– А вы?

– О, я!.. – Генриетта сделала жест, как будто обозначающий, что сама твердо решилась несколько не считаться с собственной усталостью, а затем поклонилась, готовая уйти. Граф с любопытством наблюдал за ней. Около двери она обернулась: – Когда вы желаете, чтобы я представила вам сводку счетов по имению?

Было видно, что говоря это, она напрягала всю свою волю, чтобы не упасть в обморок.

– Ну, завтра, послезавтра... когда вам будет угодно. Я не уезжаю раньше конца недели.

– Тогда послезавтра. Я буду готова. В котором часу?

– Угодно вам в девять часов после обеда? Нам уж никто не помешает.

– Это решено, господин граф.

Генриетта сказала эти последние слова еле слышным голосом, а потом ушла, затворив за собой дверь. Но Герсель заметил, что она ушла не сейчас же. Только по прошествии приблизительно полуминуты ее шаги слегка зашумели, а затем стали постепенно замирать по плиткам коридора.

«Странная девушка! – думал граф, сидя в своей комнате первого этажа, после одинокого обеда, так как он переживал приступ мизантропии, во время которого переносил только общество собак и крестьян, и никто из обитателей соседних замков не был извещен о его приезде. – Странная девушка... Она избегает меня, говорит со мной сквозь зубы: можно подумать, что она или боится меня, или ненавидит. А между тем ведь я вовсе не был суров с ней. То, что она просила у меня, я разрешил ей сию же минуту. Ведь вот в двадцать два года три тысячи франков жалованья... Если она пойдет по стопам своего почтенного папаша, то утроит себе это жалование за мой счет. Это стоило бы, по-моему, немного вежливости к хозяину... Ну, конечно... это маленькое новое изобретение в самом разгаре его выполнения. Она без сомнения считает, что то, что я плачу ей, много меньше того, что я ей должен. Воровство своего отца она должна называть возмещением, и, наверное, решила заняться из последних сил возмещением за собственный счет. Ба, да какое мне дело, лишь бы вела, как следует дела по имению! Она, кажется, создана для этого. У нее есть определенная манера давать приказания: все ходят у нее по струнке, и, ей-Богу, я не слышал, чтобы кто-нибудь ворчал на нее. Как жалко, что она считает в принципе обязательным быть со мной невежливой... тем более что она стала очаровательной на вид».

Не будучи в состоянии сосредоточиться на начатом романе, который он пробовал в течение четверти часа читать, Герсель бросил его на камин и откинулся на старинное кресло, обитое красным бархатом, в котором сидел. Он скрестил ноги перед легкими огоньками, порхавшими вокруг двух угасавших поленьев, и вызвал в памяти облик Генриетты Дерэм. Взор художника запечатлевает в своей памяти краски или формы существ, так что они, будучи воспроизведены на полотне или смоделированы в глине, выражают, собой, так сказать, пластический синтез существующего. Так и специалисты женского культа, интеллигентные женолюбцы в роде Герселя, удерживают в своей памяти то, что в наблюдаемой ими женщине составляет

именно сущность любовного вождения, выделяющую ее из общей массы ее пола. Герсель вспомнил ее черные волосы, не матового, лишнего блеска черного цвета, но синеватого, похожего на обработанную огнем сталь или на оперение ласточки: прекрасные темные волосы, мягкие, волнистые, здоровый запах которых, этот летучий аромат волос, который так скоро слабеет и потом пропадает с годами. Низкий лоб Генриетты покрылся бы морщинами от дум, если бы юность не сглаживала их при самом появлении. Несколько тяжеловатые ресницы чистого рисунка давали по контрасту необыкновенную ясность голубым глазам, восхитительно утопавшим в бледности лица. Маленький, классический носик показывал превосходный рисунок ноздрей, столь редкий у француженок, которые обычно довольствуются красивым очертанием носа. Наконец Герсель знал не хуже профессионального физиолога, что обещает этот ротик, ни маленький, ни большой, широкие губы которого, чаще бледные, вдруг сразу краснели, как будто к ним стекалась вся кровь лица. Над верхней губой была тень пушка, а зубы белизны скорей мела, чем слоновой кости, белизны почти исключительной, нагло притягивали взор к этому вызывающему роту, едва лишь он открывался.

«У этого молодого Бургена губа не дура, – подумал Герсель, вспоминая о разговоре с Денисом на берегу пруда Тейльи. – Но с каким норовом девицу он чуть было не взял в жены! Правда, по счастью только «чуть было»... Никогда он не угадал бы в ней дивной возлюбленной, которую готов был дать ему брак, ему, этому сыну разбогатевшего лавочника! Как она изящна, как она породиста! Не может быть, чтобы она была отпрыском этого ужасного Дерэма, еще более уродливого и мешковатого, чем вороватого. Ее мать была красива, податлива... Девочка без сомнения может поискать родственников по окрестным замкам...»

Так издевался наедине с самим собой граф Жан де Герсель.

Но вдруг он перестал улыбаться. Непогрешимый наблюдатель собственных чувств и инстинктов, он вдруг поймал в себе внезапный расцвет желаний, когда-то возбуждаемый столькими женщинами и все более и более редкий по мере того, как прибавлялись годы. Да, и телом, и душой Генриетта Дерэм притягивала его с такой повелительной силой, рабом которой он был всегда: он знал это влечение и, хотя даже не называл любовью, однако признавал чем-то более чистым, чем животная жажда тела. Это влечение было до известной степени желанием быть желаемым другим, пламенным желанием пробудить страсть в другой душе, которую считают способной на хорошие побуждения. Люди спокойного темперамента, рассуждающие о подобных женолюбцах, осуждают их: это несправедливо. По правде сказать, они их не понимают. Какой-нибудь Жан де Герсель – не маньяк любви: он, в общем, не более, как чувственный любитель удовольствия. Де Герсели способны неделями блюсти монашеское целомудрие, потому что в обладании они ищут полного откровения женского существа. Обезоруженная в своем поражении женщина обнаруживает самое себя. Это – отщипание Адама вечной Еве, при условии, что победитель умеет использовать свою победу и отнимает у побежденной вместе с личиной и оружие.

С той снисходительностью, которую казуисты могли бы назвать мрачным развлечением, Герсель на некоторое время стал мечтать о Генриетте Дерэм. Далеко не заурядная, она была совершенно не похожа на большинство тех женщин, которые в течение последних лет заняли жизнь графа. И, шагая из угла в угол по большой комнате в три окна, уставленной старинной, обитой бархатом мебелью красного дерева, со шторками и занавесками из красного репса, когда-то принадлежавшей госпоже де ла Фуршеттери, его тетке со стороны матери, он испытывал омерзение от всех этих бедных нравственностью и чувствами связей. Пошлое слово «связь» хорошо подходило к этим увлечениям без пылкости, которые возникают не по выбору, а случайно, и поддерживаются дряблой ленью. «С ними мирятся, – думал он, – как с неудобной квартирой, лишь бы не переезжать»... Нищета чувства у них почти всегда усугубляется еще и чисто чувственной привлекательностью: разве современная кукла скольконибудь обольстительна, если она не украшена дорогим стоящим тряпьем?.. Раздеть ее – какая

неосторожность! Какая жалкая добыча остается в руках триумфатора! Маленькое существо, почти трогательное в своем физиологическом ничтожестве, каким его сделала наследственность истощенных горожан, каким его искалечило чрезмерное затягивание в корсет, неосторожное лечение от полноты и худобы, скрывание беременности почти до последнего месяца, только чтобы не отказаться от светских развлечений... А благодаря этому, покорение, в начале иногда полное лихорадочных иллюзий, превращается чаще всего для победителя в простой акт вежливости...

«Очевидно, эта маленькая Дерэм будет другой. Тело амазонки, фигура настолько выразительная, что она возбуждает почти беспокойство... Чувствительная и чувственная, наврное... Ум, не тронутый поверхностной культурой, смелым изяществом, забавной проказливостью, драгоценным снобизмом какой-нибудь Фуше-Дегар. Но зато страстные порывы, сильные симпатии и мощная ненависть... Благодатная почва для опыта!.. Только я не сделаю его!.. Я не хочу его делать!..»

Время от времени Герсель проделывал над собой такого рода упражнения воли, чтобы убедиться, что он – нисколько не раб своих инстинктов. Он мог убедиться в этом в двадцать пять лет достаточно шумной жизни, во время которой он никогда не пользовался ни неведением, ни слабостью, ни бедственным положением женщины. Генриетта Дерэм не была, разумеется, ни несведущей, ни слабой: но она жила отныне сама и давала жить матери от щедрот господина. Быть вознагражденным за это потом – это еще можно допустить; но авансом – это имело бы вид западни, принуждения, что претило графу. Жены и дочери его слуг, какую бы ступень ни занимали они в иерархии дома, по его мнению, не существовали для любви. Поэтому, когда относительно Генриетты Дерэм он говорил себе: «Я не сделаю опыта, я не хочу его делать», – он был не только совершенно искренен, но и полон решимости в то же мгновение исключить девушку из сферы своих желаний и даже отказаться от того мимолетного удовольствия, с которым он предался представлению себе ее образа.

Под колпаком, охранявшим их более полувека от пыли, часы с колоннами, инкрустированные фиалковым и лимонным деревьями, прозвонили половину десятого. Герсель позвал лакея, дал себя раздеть и лег, приказав, чтобы его разбудили в шесть часов утра. В постели он прочел несколько страниц, но не романа, решительно скучного, а томика, взятого в соседней с кабинетом библиотеке. Это была монография одного из его предков, маркиза де Бро, родившегося в 1797 г. и умершего в 1868 г., сделавшего почетную дипломатическую карьеру сначала во время Реставрации, а потом при Второй империи. Он был посланник, член института, украшенный орденами и титулами, автор многих «уважаемых» трудов, но все это не мешало черному забвению окутать эту мимолетную знаменитость, даже само имя которой умерло. Монография, написанная почтительным сыном, так и дышала скукой и пошлостью.

Герсель вдруг проснулся с усыпавшим его благочестивым томиком в руках. Он положил книгу на ночной столик, потушил лампу и попробовал заснуть.

Он думал о Генриетте Дерэм с руками на коленях, с белым лицом в черном крепе. И, как пробуют клинок шпаги, втыкая кончиком в землю, так он испытывал свою волю, думая о ней без вождления.

Глава 4

На следующий день граф вовсе не видал Генриетты. В час, когда по его возвращении с охоты Генриетта ежедневно ожидала его в маленьком кабинете, чтобы доложить о событиях дня и получить от него распоряжения, он встретил там старуху Дерэм в сопровождении мальчишки с фермы. Госпожа Дерэм – седеющая блондинка, опухшая, разжиревшая и увядшая – была так многослойна, что ей часто не хватало дыхания в середине фразы. Она рассыпалась в выражениях уважения:

– А, господин граф!.. Очень прошу господина графа извинить нас. Бедная Генриетта слегла от страшных головных болей... или, вернее, она не слегла, так как я не могла уговорить ее лечь в постель. Она прилегла на кушетку: кушетку, которую мне подарила после моих родов эта прелестная госпожа баронесса де ла Фуршеттери. Вот добрая женщина, господин граф, святая! Она так любила мою маленькую Генриетту! Она должна быть счастливой, видя сверху, как Генриетта ведет все управление ее поместьем, которым она так интересовалась... Когда у Генриетты мигрень, она не может ни шевелиться, ни есть, ни говорить – ничего. Следовало бы даже, чтобы она не слыхала ни малейшего шума. И она страдает, как мученица. Поэтому сегодня я пришла за распоряжениями господина графа. Все было благополучно сегодня в поместье; к сожалению, я не могу так быстро бегать, как дочь. Генриетта прыгает, как коза, когда у нее нет мигрени; у меня ноги пухнут сейчас же, как я начинаю двигаться, а к тому же еще и зрение портится ужасающим образом, особенно после удара, который мне нанесла смерть мужа: вечером я не решилась бы выйти, если бы мальчишка не провожал меня. Я все-таки думаю, что завтра дочь будет чувствовать себя хорошо, и если господину графу угодно будет дать мне свои распоряжения, то я передам их ей.

– Нельзя ли послать за доктором в Ненг? – спросил граф.

– О, Генриетта не хочет... Да и не стоит. Обычно боль длится у нее часов двенадцать, и после ночи не остается и следа. Только она так измучилась в эти несколько дней со своими счетами, что в данное время стала более чувствительной. Все время, которое она проводит дома, она занимается расчетами, разбирает счета, проверяет книги... Она перевернула все бумаги, до которых мой бедный муж не касался десять лет... По ночам она работает до двух часов. Я встаю в одной рубашке, господин граф, чтобы сказать ей: «Генриетта, я умоляю тебя, оставь свои подсчеты и иди спать»... Потому что... потому что... господин граф... я не хотела бы, – и она расчувствовалась, – я не хотела бы, чтобы служба в имении отняла у меня дочь... как уже отняла дорогого мужа...

– Конечно, – холодно сказал граф, которого раздражали и этот поток слов, и эта притворная чувствительность, – конечно, если здоровье вашей дочери слишком нежно для управления имением, так ей лучше бы отказаться...

Слезы мгновенно испарились с глаз госпожи Дерэм:

– О, нет, господин граф, нет! И речи нет, чтобы оставить управление... Бедная крошка! Она так счастлива, что может зарабатывать на себя и заменить отца... Только... трудности начала и желание делать все чересчур хорошо... Муж был не очень здоров в последние годы, и он запустил дела. Генриетта хочет, чтобы все было в порядке завтра... когда она представит свой баланс. Таким образом... небольшое переутомление. Но завтра не будет и следа, я отвечаю. Она крепка, крошка, крепче мужчины. И, несмотря на бледность, у нее есть-таки кровь, господин граф может мне верить, кровь точно у кровной молодой кобылы. – Старушка подошла к своему собеседнику, словно желая сделать ему важное заявление, такое, которое не должен бы слышать неподвижно застывший в углу мальчишка с фермы, и продолжала: – между нами – кровь-то в ней именно и волнуется. Девушка двадцати двух лет, сложенная, как она, должна бы выйти замуж. Господин граф знает, без сомнения, что ее руки просил помещик из

Тейльи, прелестный молодой человек, который от нее без ума. Она отказала, она и слышать не хочет. Объясните-ка это! По-моему, у девушки есть любвишка на сердце! – И Дерэм посмотрела при последних словах на графа.

«Какого черта ей нужно? – подумал Герсель. – Что она мне дочь свою предлагает, что ли?»

Он отпустил ее, спеша избавиться от ее болтовни и подлых намеков.

Весь вечер – пока он обедал, потом пока читал в отделанной красным репсом комнате, чтобы заставить себя заснуть, почтенную и скучную историю маркиза де Бро, – Дерэм, тяжелая, сопящая, вульгарная, заслоняла ему образ Генриетты; ему даже не приходилось обуздывать порывы своего вождения. Потом он представил себе старика Дерэма, который крал из доходов имения и вонял трубкой и потом, и подумал: «Новое подтверждение той глубокой истины, что выбирать возлюбленную вне своего круга – ложный шаг. Генриетта Дерэм, несмотря на тело амазонки и интересную душу, будет мыслима разве за тысячу верст отсюда. Да, наконец, надо было никогда не, знать ее грабителя-папашу и матери с сомнительным прошлым, с манерами сводни».

Какие прекрасные, ценные, элегантные или знаменитые воспоминания, семейные и социальные, вызвали в нем те страсти и страстишки, которые заводил себе он, Герсель, в своем кругу!.. Благородные особняки на левом берегу Сены, пышные современные жилища в районе пляс де л'Этуаль, замки на Луаре, дворянские загородные домики берегов Дордони, охота в стране дичи, крейсирование на яхте по Средиземному морю, обширные дворцы-караван-сарай знаменитых станций... Все внешние физические данные и кожа светских женщин без сомнения не имели крепости какой-нибудь Генриетты Дерэм; но кровь, даже обедневшая, которая оживляла ее, давала ей изящество, какой-то вкус, настолько особенный, как будто в ее шариках еще циркулировали жар, храбрость, честь тех древних сердец, из которых она брала свое начало. Вежливость их обычаев имела такие скрытые оттенки, что даже красивые мещанки, мало-помалу появляющиеся в «свете», не понимают их и копируют только очень несовершенно... Но, по крайней мере, они возмещают это обаянием красоты, щедростью хорошего тона, очаровательной манерой в восхищении отдаваться, когда их хочет взять человек из настоящего круга.

«Например, – размышлял Герсель, – эта левантиночка... Ее тесть был биржевым маклером; муж торгует кожей – это правда. Но это не отнимает у нее достойного обожания изящества. Ее свекровь, жена биржевого маклера, особа с прекрасными манерами, набожная, благотворительница. Особняк на улице Христофора Колумба – чудо вкуса. Я не знаю, где, я не знаю, когда Фуше-Дегар продает свои кожи, но он находит время собирать самый лучший фарфор, лучшие эмали, лучшую мебель в стиле Людовика XV, какую я только знаю в Париже. И его крошка-жена прелестна со своим очаровательным любопытством и беззастенчивой жадной любви. Вот уже третьего дня как я получил от нее письмо, на которое еще не ответил. Это крайне невежливо».

Граф подошел к бюро из красного дерева, стоявшему против камина, и написал следующее письмо:

«Ла Фушеттери, 2-го апреля

Дорогой друг! Не браните меня очень за то, что я опаздываю с ответом. С самого начала приезда в Фушеттери деревенские инстинкты так властно овладели мною, что вот уже несколько дней, как я могу вести только чисто животную жизнь, вставая с зарей, проводя день на охоте, или занималась верховой ездой и ложась, как мужики, вместе с солнцем. О, нежная Люси, такой превосходный, такой утонченный образец современной парижанки! Как я предчувствую, что вы отвергнете этого человека полей и лесов, плохо одетого, замазанного грязью и тиной, который вечером возвращается в свой

пустой дом, сопровождаемый сторожем, похожим на него, словно брат! «Никогда, – воскликнули бы вы, – никогда я не могла бы принадлежать этому первобытному человеку... И не правда, что я принадлежала ему!». И все-таки вы, маленькая белокурая и образованная особа, соблаговолили отдать этому некультурному мужику свою юную божественность и позволили ему обожать ее. Воспоминание этого часа преследует его теперь в его одиночестве. Вспомните ли и вы тоже нашу встречу? Вспомните ли с тем волнением, с каким я сам предался воспоминаниям в этой деревенской комнате, которую, наверное, еще не занимал гость, одержимый такими распутными мыслями? Люси мой превосходный друг, дайте и вы тоже свободу своему воображению которое, как я убедился, достаточно извращено. Припомните... Я хочу, чтобы демоны ночи мучили вас в той пышной кровати, которая принадлежала госпоже Полиньяк, как преследуют они меня в кровати из красного дерева, принадлежавшей моей бедной тете. Отчего вас нет около меня! Любите меня!.. Я не замедлю возвратиться в Париж. Хотите уделить мне послеобеденное время восьмого апреля? Это будет через шесть дней – срок очень долгий, но необходимый, чтобы покончить со скучными делами, вызвавшими меня сюда. Напишите мне сюда, мой очаровательный друг: напишите мне письмо столь же безумное, как и ваши разговоры после глотка портвейна... Помните? Целую ваши дивные ручки, ваши фиолетовые глаза и губы... и прижимаю вас к себе, о, бесконечно более редкий и красивый фарфор, чем вся коллекция вашего супруга...»

Написав это письмо Герсель перечел его и ему показалось, что оно бледно вдохновением и написано с пылкостью настолько искусственной, что это было сразу видно. Может быть, в первый раз в своей жизни он испытал некоторое отвращение к тем избитым путям, которыми пользуются профессиональные соблазнитель: атаковать в женщине прямо ее женскую стыдливость, так сказать «обестыживать» ее. Он знал по опыту, насколько этот путь верен, безошибочен; но на этот раз в нем поднималось какое-то омерзение против подлости обезоружить слабейшего, прежде чем поразить его.

«Сколько таинственного в нравственности и безнравственности любви! – думал он. – Есть ли во всем этом, в конце концов, добро или зло? Рассудок говорит – нет... То, что протестует против разума, – это не более, как пережиток, как религиозные и социальные традиции... Ведь, в конце концов, что может измениться в мировом порядке от того, что крошка Фуше-Дегар, муж которой половину жизни проводит в коллекционерстве, а другую – в забавах с легкими дамочками, поиграет в любовь с тем или другим из своих друзей?»

Герсель погрузился в монографию маркиза де Бро, прочел рассказ о его посланничестве в Вене, интересный полным отсутствием каких-нибудь происшествий. Он лег поздно, значительно умиротворенный этим чтением. Перед тем как лечь спать, он еще раз пробежал только что написанное письмо к госпоже Фуше-Дегар, и еще более, чем в первый раз, оно показалось ему глупым и скверным.

Он бросил его в огонь и с удовольствием смотрел, как оно чернело, коробилось, словно в ослепительном блеске, от которого на мгновение заплясали тени в комнате.

Глава 5

Был уже день, когда Виктор открыл все три окна. Герсель не собирался охотиться в это утро, так как запланировал его на разговоры с фермерами и подрядчиком.

– Почему вы не разбудили меня раньше? – спросил он у Виктора.

– Господин граф не изволили распорядиться. Поэтому я вошел в комнату в то же время, как и в Париже.

– Кто-нибудь ждет меня?

– Сын фермера из Риньи приходил в семь часов. Ему сказали, что господин почивает, и он пошел пока прогуляться до сыроварни... Там внизу нет никого, кроме молодого Бургена из Тейльи, который приехал в своей английской тележке. У него ливрейный лакей, словно как у госпожи.

– Что этому-то нужно от меня? – проворчал Герсель.

Без всякого основания, может быть, просто оттого, что он не любил всех выскочек вообще, он не имел ни малейшего желания знакомиться с молодым Бургеном. Тем не менее, он поторопился позавтракать и спустился в кабинет.

Небольшого роста, немножко коренастый для своих двадцати шести лет, молодой Бурген имел классический вид француза из среднего класса, тот вид, о котором Ла Брүйер сказал: «Его видно на календарях». У него были овальное лицо с подстриженной темной бородой, правильные черты без тонкости, довольно красивые серые глаза, выражение здоровья и доброты. Он был одет в костюм из синей саржи; в галстук-пластрон была воткнута камея. Появление графа, казалось, привело его в сильнейшее замешательство.

– Месье, – залепетал он, – я помешал вам?

– Нисколько, господин Бурген, – сказал Герсель, которому понравились манеры и скромное обращение молодого соседа. – Садитесь, прошу вас, и рассказывайте, что вам угодно. Я к вашим услугам.

Мишель Бурген повиновался и, осторожно касаясь правой рукой фетра своего котелка, чтобы придать себе бодрости, начал:

– Боже мой, месье... я буду с вами откровенен. Хотя я и не имел чести быть знакомым с вами, но знаю вас с детства. Мое семейство из тех же мест, что и ваше: мои деды служили вашим. И я прихожу просить у вас помощи, как мой предок Дезирэ Бурген, фермер из Вилле-мора, мог приходить просить ее у вашего двоюродного дедушки, маркиза де ла Фуршеттери.

Граф протянул руку молодому человеку и произнес:

– Месье, вы можете рассчитывать на меня.

Ловкий подход помещика из Тейльи коснулся его слабого места. Ему была особенно ненавистна в современном строе мания равенства, в присутствии же низшего, сознающего отделяющее их расстояние, он наоборот был склонен к снисходительности, к сближению.

Мишель Бурген продолжал свою речь после некоторого раздумья и на этот раз глядя прямо в лицо Герселю. Он как бы подыскивал слова, но под словами, иногда и медлительными, запинаящимися, чувствовались сосредоточенная мысль, воля упрямого крестьянина.

– Вот... может быть, вы знаете, господин граф, что мои отец и мать, занимавшиеся коммерцией в Ненг-Сюр-Беврон, оставили мне кое-какое состояние. Они мечтали сделать из меня помещика, и эта идея поддерживала моих бедных стариков в работе. «У тебя будут имение и дворец, и ты будешь охотиться со всеми этими господами!» – говорили они. Они воспитывали меня в маленькой семинарии в Шапелл-Сэнт-Месмен, где и я на самом деле познакомился со всеми молодыми помещиками окрестностей: мы были на «ты». Только после студенчества, когда каждый вернулся в свои семейства, я заметил, что еще не достаточно учиться вместе, чтобы стать человеком одного круга. Я попробовал поддержать отношения с теми из товари-

щей, которые нравились мне больше всего. Увы! одни сторонились меня, а у тех, которые меня приняли, я чувствовал себя тоже не на месте. Многие были беднее меня, но все-таки их дома были иначе убраны, чем мой, с такой уютностью, с тем духом старины, которых не было у меня. Люди, о которых они говорили, были их родственниками или друзьями их родственников, а я в лучшем случае знал по имени кого-нибудь из них. Короче говоря, я не настаивал на дальнейшей близости отношений и перестал видаться с ними; они забыли меня, и я продолжал довольствоваться посещениями друзей моих родственников.

– Во всяком случае, месье – прервал его Герсель, – вы всегда будете здесь желанным человеком, и я очень прошу вас охотиться у меня по-соседски, сколько вам угодно.

Бурген сделал неопределенный жест благодарности, жест, обозначающий (Герсель понял это): «Вот слова, за которые я вам благодарен, но, в сущности, вы – такой же, как и другие, и я сильно стеснил бы вас, если бы вздумал ловить на слове».

Затем Бурген продолжал:

– Таким образом, я живу одиноким в «собственном замке», как мечтали мои старики, и вожу знакомство с несколькими скромными собственниками да окрестными мещанами. Но я не жалею, так как не чувствую себя несчастным. Земледелие интересует меня. Я люблю охоту, менее страстно, чем вы, господин граф, и большинство ваших друзей, но для меня это – все-таки удовольствие. Я много читаю, немного играю на скрипке, словом умею занять свое время. И, уверяю вас, меня нисколько не мучает, что не исполнились мечты моих родных о связях с помещиками и женитьбе на знатной особе. И я хотел бы все-таки жениться, иметь собственную семью. О, разумеется, я легко нашел бы выгодную партию или красивую девушку, желающую поселиться в Тейльи... Но дело в том, что уже есть кое-кто, кто нравится мне... Вы знаете кто? – Граф улыбнулся. – Да... об этом говорили здесь... Поверите ли, – Бурген воодушевился, – я думал о ней уже тогда, когда был еще только учеником и приезжал в Тейльи на каникулы! Сколько раз я подкарауливал ее вокруг Ла Фуршеттери... Ей было пятнадцать-шестнадцать лет. Весь свет считал ее уродом, но я находил, что она прелестна. Теперь весь свет согласен со мной. Она ни на кого не похожа, не правда ли?...

Он замолчал, сконфуженный этим прямым вопросом, который сорвался у него с языка и на который граф не ответил. Между обоими мужчинами воцарилось достаточно тягостное молчание. Герсель испытывал сложное чувство, в котором смешивались и действительные симпатии к искреннему чувству и полной откровенности этого Бургена, и тайная враждебность самца к самцу, раздражение от того, что Бурген говорит о Генриетте Дерэм с такой легкостью и жаром. Очевидно, Бургену и в голову не приходило, что граф де Герсель может с вождением взглянуть на Генриетту Дерэм, но в то же время он лопнул бы от смеха при мысли, что Генриетта Дерэм может любить графа де Герселя. Герсель угадывал это чувство и раздражался.

Между тем его гость тихо продолжал:

– Я два раза просил руки у мадемуазель Дерэм. Ее мать была за меня, с ее отцом можно было поладить, но сама девушка не захотела этого, и мне ответили, что она еще слишком молода. Тогда ей было восемнадцать лет – теперь с того момента прошло уже четыре года – и я не настаивал. Она была и в самом деле несколько молода, чтобы выбирать мужей. Но в последнем месяце, зная, что старик Дерэм пустился в досадные спекуляции, и, предвидя его огорчение, я возобновил свое предложение. О, на этот раз и отец, и мать соединились, чтобы заставить Генриетту уступить: они были бы очень довольны пристроить ее. Однако и тут Генриетта ответила: «Поблагодарите господина Бургена, но я не хочу выходить замуж...» Возможно ли, чтобы молодая девушка двадцати двух лет, здоровая и крепкая, которой не очень-то хорошо живется у себя, упорно отказывалась выйти замуж? Это, по меньшей мере, поразительно, не правда ли? Тем более, что я представлял собою прекрасную партию для нее. Пусть я и не очень соблазнителен, но все же всякая девушка может без стыда сказать о таком человеке, как я: «Вот мой суженый!» Уверяю вас, оба эти отказа показались мне подозрительными. Я

сделал ужасное предположение: Генриетта Дерэм не выходит замуж потому, что у нее... – Он запнулся перед словом, а потом сказал: – что у нее был уже кто-то. Вы знаете, что в последние годы она помогала отцу в управлении поместьем. Ей приходилось уезжать по делам имения, отправляться одной в Ненг, в Ла-Мотт-Беврон, иногда в Орлеан и даже в Париж. Я не мог оставаться в сомнении: я шпионил за мадемуазель Дерэм сам и приказал шпионить за ней. Это мерзко, отвратительно, все, что угодно, но мне это все равно, я хотел знать. Но, представьте себе, я ничего не открыл, я ничего не нашел... Мадемуазель Дерэм – самая честная, самая чистая из всех девушек. Ни малейшей интрижки в жизни!

Он сделал паузу.

А Герсель в это время думал: «Почему доверчивые признания этого бездельника доставляют мне такое удовольствие? Какое мне дело до физической и нравственной целостности Генриетты Дерэм?»

Но непогрешимое предчувствие, которое дается постоянной привычкой жить около женщины и для женщин, все-таки наполняло радостью его сердце. Потому что Генриетта Дерэм была порядочна? Нет. Эта странная радость возвещает великое счастье; Герсель никогда не почувствовал ее, без того, чтобы она безошибочно не предвещала ему покорения желаемого существа. Однако он не хотел признаться, что относится, таким образом, к словам Мишеля Бургена; это было абсурдом перед рассудком: какая логическая связь может быть между ним, Герселем, и добродетелью Генриетты Дерэм! И его лицо хранило полнейшее безучастие, пока молодой человек продолжал:

– Таковы были обстоятельства, когда старик Дерэм умер. Немногого стоил это старик Дерэм, теперь можно смело сказать вам это, раз он умер. Да никто и не жалел о нем. Я, сознаюсь, сейчас же подумал: «Мать и дочь теперь без средств; мои шансы увеличиваются...» Когда старика похоронили, я стал готовиться к возобновлению своего предложения, вдруг... пожалуйте!., узнаю, что Генриетта наследует от отца управление вашим имением и что следовательно она не нуждается во мне. Ах, господин граф... Конечно, вы хорошо поступили, ну, а все-таки, узнав об этом, я не очень-то добрым словом помянул вас!

«Однако этот маленький плебей становится все фамильярнее!» – подумал Герсель и тотчас же насторожился, решив оградить себя от фамильярности.

Молодой человек без сомнения заметил перемену, хотя граф не сказал ни одного слова (это случилось так же, как иногда вдруг чувствуется холод в воздухе), и не будучи глупым, сейчас же снова перешел на почтительный тон:

– Я подхожу, господин граф, к цели своего визита и извиняюсь, что пустился в такое длинное отступление. Мадемуазель Дерэм – ваш управляющий! Сначала это привело меня в отчаяние, но потом, раздумав, я сказал себе, что еще не все потеряно, что хотя она и храбрая, но для молодой девушки управление Фуршеттерри будет слишком тяжелым бременем, что при таком занятии приходится иметь дело с людьми, которые не уважают женщин и менее дерзки с мужчинами, чем с женщинами. Действительно, в интересах самого имения, я думаю, что муж в роде меня не будет бесполезен Генриетте. Я понимаю кое-что в земледелии, как уж говорил вам... Если вы через месяц будете иметь случай проезжать по моим землям, то увидите такую рожь и такой овес, которым в Фуршеттерри, наверное, нет равных, так же, как и моим свиньям и индюшкам, премированным на всех выставках. Разумеется, господин граф, за помощь, которую я окажу, я не прошу ровно ничего; я не ищу денежных выгод: мне достаточно мадемуазель Дерэм. Я предпочел бы, чтобы она не занималась никаким специальным делом, но раз у нее уже есть профессия, то я примирюсь с ней, совершенно откровенно обещаю вам это... И, если вы захотите помочь мне, господин граф, я верю, вы не будете раскаиваться. Конечно, в планы моих родителей не входило, чтобы я управлял соседним имением... Но мне это все равно. У меня нет честолюбия или, вернее, у меня есть одно только: спокойно и счастливо жить с женщиной, которая нравится мне, и без которой я не могу обойтись. Не откажите мне

ни в своей согласии, ни в поддержке, вы сделаете доброе дело! Протежируйте мне, как ваши предки протежировали моим.

– Честное слово, – возразил ему Герсель, – вы должны согласиться, что, нанимая мадемуазель Дерэм в управляющие, я не собирался предписывать ей безбрачие. Но точно так же я не могу предписать ей взять того или другого мужа. Что же я могу сделать для вас?

– Уж и того много, что вы не протестуете. Значит, вы примете меня? О, как я признателен вам за это? Ну, что ж, если я вам нравлюсь... усугубите свою доброту... замолвите за меня словечко перед Генриеттой! Убедите ее!.. У меня есть предчувствие, что перед вами она не устоит... И уверяю вас, господин граф, что ни одна женщина не будет счастливее ее, если она согласится. А потом у вас будет одним преданным слугой больше! Вы увидите!

Герсель задумался на мгновение. На задворках души, где наши желания бродят с помощью элементов того, что называют волей, и подготавливают наши поступки, он обнаружил стыдливое желание сделать то, о чем его просили, и сделать не ради сочувствия к Бургену, но из эгоистического любопытства. Молодая девушка не раскрывает своей души в разговорах о счетах фермеров и подрядчиков; гораздо действительнее будет поговорить с ней о замужестве. Вот ключ, который ему дают, чтобы открыть маленькую мятежную душу. Потом искренне, лояльно Герсель обещал себе сделать все, чтобы его труды закончились женитьбой Бургена на Генриетте. Он видел в этом высший нравственный долг, одну из тех специальных обязанностей, которыми он никогда не пренебрегал и которых никогда не упускал.

– Решено, – сказал он, – я постараюсь услужить вам. Вы понимаете сами, что я должен действовать с большим тактом, и именно потому, что мадемуазель Дерэм служит у меня. Кроме того она – очень сдержанная молодая особа и всегда начеку. Но я скажу ей, какого я хорошего мнения о вас, а также то, что, по моему мнению, она сделала бы очень умно, если бы приняла ваше предложение.

Бурген рассыпался в смущенных благодарностях; он уже считал успех гарантированным.

Однако Герсель поднявшись, оборвал его излишества и, подавая руку, сказал без всякой горячности, но таким тоном, который не оставлял сомнений:

– Положитесь на меня! Я сделаю все, что могу.

Остаток утра граф посвятил приемам фермеров, подрядчика из Виллемора и различных поставщиков. После полудня он не взял Дениса на охоту, а с ружьем за плечами и с Пуфом, обнюхивавшим кусты и дорожки то спереди хозяина, то сзади, довольствовался долгой прогулкой по парку, занимавшему тридцать гектаров. Он подстрелил нескольких кроликов, убил несколько маленьких птичек. Но сегодня он не был в настроении охотиться. Это был один из его «дней отчаянья»; но, несмотря на это данное подобным дням имя, он не старался удержаться от наслаждения их горькой прелестью. В такие дни все являлось для него источником меланхолии: и время года, которое напоминало ему так много других времен, и места, по которым он проходил и где его взгляд, изобретательный в выискивании причин грусти, останавливался в созерцании полумертвого дуба, развалившейся скамьи, инструмента, забытого и изъеденного плесенью и ржавчиной, всех знаков разрушения, остающихся на этапах всеобщей жизни; и встреча с лакеем, которого он знал когда-то маленьким боязливым мальчишкой, цепляющимся за юбки матери, и который стал теперь здоровенным парнем, вернувшимся на родину после окончания срока воинской повинности; и встреча с не имеющей возраста бабой, с пасмурным, изрезанным морщинами лицом, которую он видел двадцать лет тому назад в числе первых причастниц на приеме у маркизы де ла Фуршеттери.

День был мрачным и сырым, словно предвестник осени, когда по краям дорожек растут кучки маленьких белых грибов. Небо было закрыто непроницаемой завесой, не слышно было даже ветерка. Леса были полны трогательной тишины.

Герсель с ружьем за плечами шел медленным шагом. Пуф безропотно следовал по его пятам; ему были известны привычки хозяина и он знал, что в подобные моменты было совершенно бесполезно беспокоить кроликов.

Герсель думал: «Мне сорок три года, но я ни в каком отношении не чувствую себя менее молодым, в полном значении этого слова, чем в двадцать пять лет; однако восемнадцать лет, прошедших с двадцать пятой годовщины, уже не отделяют моей теперешней бодрости от момента, когда я стану стариком. И пусть все во мне протестует против этой мысли о старости, но настанет минута, когда надлом скажется: часть меня начнет умирать, как вот эта ветка клена, как этот истлевший угол скамейки...»

Какое непреодолимое отвращение испытывал он сам перед старостью! Ему приходилось так же принуждать себя при разговорах с состарившимися существами, чтобы оставаться около кого-нибудь, чей запах беспокоил его. И вот однажды он сам станет старым, вокруг него будет сиять почтение к смерти и распространяться омерзительный, запах ветхости! Ему пришла на память одна фраза Генриха Гейне из «Барабанщика Леграна», та, где поэт, вообразив собственную смерть, воскликнул: «Благодарю Бога, я еще живу! В моих жилах бродит красный сок жизни, под ногами моими содрогается земля!» – И так же, как поэт, он подумал: «Я еще не стал добычей отвратительной старости... И если быть старым так ужасно, то надо наслаждаться тем, что еще не стал им».

Таким образом, почти всегда оканчивались «дни отчаяния» этого сильного организма, – реакцией энергии, страстной жаждой жизни; и в сущности из-за этого он только и не старался избегать этих кризисов.

В замок Герсель вошел более веселым шагом, наслаждаясь собственной крепостью, с сердцем настороже, точно предчувствуя что-то счастливое.

«Чего же я жду?.. Ах, да... Генриетта Дерэм, ведь она должна прийти с отчетом в девять часов...»

Граф снова энергично напряг свою волю, чтобы не впасть в соблазн, чтобы даже не смотреть на Генриетту, как на женщину, к тому же женщину желанную.

«Это – просто мой управляющий! – старался внушить он себе, но тут же подумал: – а я все-таки попробую заглянуть к ней в душу».

Чтобы быть уверенным, что никто не помешает им и не услышит, как он будет разговаривать с Генриеттой, граф распорядился, как только вошел, развести хороший огонь в библиотеке, находящейся по соседству с комнатой в красном репсе, и приготовить там на столе бумаги, чернила, перья и на всякий случай что-нибудь освежительное.

Сам он сейчас же после обеда прошел в библиотеку, чтобы удостовериться, что все его приказания исполнены в точности. Большая продолговатая комната представлялась взору испещренной по стенам рядами томов в темных переплетах; все это была серьезная литература, собранная когда-то маркизом де Бро. Посредине комнаты на столе находились две сильные лампы с зеленым, подбитым белой подкладкой, абажуром и освещали оливковую суконную скатерть, относившуюся, как и книги, и сами лампы, ко временам любознательного маркиза. Кресла, украшавшие библиотеку, равно как и занавески, были из зеленого репса. Против стола находился очень тяжелый диван из зеленой кожи.

На этом столе при свете этих ламп дипломат де Бро сочинял те «уважаемые сочинения», названия и разбор которых де Герсель читал накануне и за день до этого. Огонь, танцевавший в камине, «огонь хрупкий и вечный, который на самом деле никогда не угасает, а только засыпает в очаге, будучи оставленным до следующего дня, когда человек снова будит его, – огонь этого самого каминного огня играл тенями и бросал отблески на важный силуэт аристократического парламентария, который, как говорила его биография, походил на Ламартина». Герсель представил его себе сидящим за зеленым столом и покрывавшим листки медлительным, мелким письмом.

Его сердце сжалось, как тогда, когда он видел скамейку, наполовину истлевшую, заржавевший инструмент, омертвевший клен...

«Огонь, который говорит в этом камине, – тот же самый огонь, который горел и в те времена, – подумал Герсель, – но он не чувствует этого. Моя жизнь – та же жизнь моего двоюродного дедушки; но я не чувствую этой логической связи, в которую верит мой рассудок. Ах, зачем умирать?.. Почему не продлится жизнь, переходя последовательно на сознающие это существа так же, как горение этого неугасимого огня?..»

Вошел Виктор и доложил:

– Господин граф, мадемуазель Дерэм ожидает внизу.

– Хорошо. Попросите войти!

Вошла Генриетта. Ее белое лицо казалось еще бледнее благодаря черному пальто и вуали из черного крепа. Ее сопровождал мальчишка с фермы, который нес книги и связки бумаг. Герсель, почтительно поздоровавшийся с ней, ощутил неприятное чувство при мысли, что мальчишка будет присутствовать при их разговоре, но Генриетта сейчас же отпустила его:

– Ты придешь завтра в замок забрать все это, а теперь ступай спать. Спасибо тебе!

Она казалась в очень хорошем расположении духа. Но Герсель, проницательность которого во всем, что касалось женщин, было довольно трудно обмануть, заметил, что она была в слишком хорошем расположении духа, что она хотела быть в хорошем расположении духа. Он был убежден в этом и новое подтверждение этому видел в слишком упорной неподвижности ее взгляда, уставившегося на него.

После ухода мальчика Генриетта сказала графу:

– Счета в порядке: извините, что приношу их вам только сегодня. Мама, должно быть, сказала вам, что мне нездоровилось.

Герсель выразил надежду, что она совсем поправилась. Генриетта подтвердила, что теперь, в самом деле, силы вернулись к ней, а затем решительно развязала креповую вуаль, упавшую ей на плечи, расстегнула черное пальто, положила то и другое на кресло, вернулась к Герселю и сказала:

– Ну, вот... я готова.

Она в ожидании остановилась перед Герселем тонкая, высокая, с талией, почти чересчур стянутой, с бюстом, который в вызывающей прелести обрисовывался корсажем из черной тафты, с черными волосами, свернутыми простым жгутом, с белым воротничком на шее, с неподвижным взглядом бледного лица, вся кровь которого как бы сбежала к губам.

Граф хотел подвинуть кресло.

– Спасибо, – сказала Генриетта, – я предпочитаю стул.

Она взяла его сама, уселась на краю продолговатого стола, развязала пачки бумаг, отыскала среди книг маленькую клеенчатую тетрадь и открыла ее. Герсель уселся в кресло маркиза де Бро.

– Я разделила счета на две части, – начала Генриетта. – В первой, разумеется, очень короткой, я собрала все то, что сделано во время моего непосредственного управления после смерти отца... Теперь я представляю вам положение, поскольку оно выясняется из счетов отца... словом, баланс его управления.

Она говорила, не поднимая глаз, голосом, умышленно лишенным всякого выражения. Герсель слушал ее, слушал цифры, не вслушиваясь в них... Что ему было до всей этой отчетности? Разве он не знал, что все теперешние собственники теряют на землевладении деньги, а все управители жиреют за счет хозяина? Но зато он с нежным любопытством смотрел на эту прелестную девушку, склонившуюся под лампой, наслаждался чистым рисунком лица, тяжелым клубком волос, глядел, как двигаются по рядам строчек, которые она читала, ее темно-синие зрачки, как движутся ресницы, как отчеканивает рот слоги, как, следуя ритму дыхания, движется под корсажем такая вызывающая молодая грудь... Острый, сильный запах темных

волос временами достигал его ноздрей, – запах для большинства неощутимый, но чувствуемый таким женолюбцем, как Герсель, в воздухе и воспринимаемый им, как любителем.

– Заплачено по счету Ликсандра в Роморантене шестьдесят восемь франков, – читала Генриетта. – Получено за продажу пяти мешков овса от Паренту девяносто франков. Починка окна в сторожке двадцать девять франков семьдесят пять...

А граф в это время думал: «Прелестная девушка!.. И сказать, что какой-то там Бурген будет обнимать этот бюст амазонки, будет целовать эти глаза, эти волосы, эти губы!»

Ему хотелось стать для Генриетты источником счастья, нескольких радостных дней в жизни, даже не обладая ею, чтобы, по крайней мере, никто другой не был первым обладателем ее! Он чувствовал желание оказать ей отцовское покровительство, ощущал смутно волнующуюся нежность, желание держать ее в объятиях, чувствовать, что она вся отдается, вся доверяется ему.

Генриетта подводила счета:

– Получено: четыре тысячи семьсот девяносто девять франков, девяносто; израсходовано: семь тысяч шестьсот семьдесят семь франков, тридцать пять; на дебете счета остаются две тысячи девятьсот семьдесят семь франков, сорок пять... Теперь я дам вам оправдательные документы, чтобы вы могли сверить цифры с моей записью.

– О, – ответил Герсель, – это не нужно, я верю и так.

– Я прошу вас, – сказала Генриетта.

Их взгляды встретились, и Герселя поразила внезапная перемена в лице девушки. Несмотря на скуку проверки он, чтобы не спорить с ней, согласился перелистать документы, бросая взгляд на тетрадку, и наконец, произнес:

– Совершенно верно!

Генриетта положила левый локоть на стол и оперлась лбом на руку. Она не изменила позы, но повернулась лицом к графу. Теперь было видно все ее внутреннее волнение, несмотря на усилие, которое она прикладывала, чтобы сдержать его.

Граф не преминул спросить:

– Вы не устали? Если хотите мы можем сделать перерыв в работе или отложить ее до завтра.

Она отрицательно покачала головой, открыла другую счетную книгу, взяла новую связку счетов и развязала ее.

– Вот, – сказала она, устремив взор на линии цифр, – я должна вам сказать, что при жизни отца помогала ему в управлении; иногда мне приходилось даже расплачиваться за него по счетам; но никогда, ни одного раза мне не пришлось иметь в руках всю сводку его отчетности. Когда он... умер, внезапно, как вы знаете, мне пришлось, как можно скорее разобраться с его бумагами... Я знала, что он пускался в спекуляции, на которых понес большие потери. С изумлением я констатировала, что он ничего не должен. Отец не записывал регулярно своих расходов, но хранил все письма и ответы. И я убедилась, что он платил достаточно крупные суммы самым разным промышленным агентам Парижа...

По мере того как Генриетта говорила, ее голос, сначала слабый и запинаящийся, становился все тверже; но Герсель чувствовал, что его тембр меняется, что, так сказать, он превращается в другой голос, голос, которым говорят во сне, которым бредят в горячке. Ее маленькая, бледная, хорошо выхоленная рука с крошечными ноготками дрожала, лежа перед самыми глазами графа на красном бюваре.

– Когда я увидела, что у отца нет никаких долгов, – продолжала девушка, – мое беспокойство нисколько не улеглось, а даже, наоборот, усилилось! Он никогда не говорил нам о своих спекуляциях, ни матери, ни мне, но до меня дошли скверные слухи... я угадывала причину его озабоченности и в течение двух лет я жила под страхом катастрофы. Он умер – но

ни один кредитор не явился, а я не находила дефицита! Откуда же взялись деньги, которыми была оплачена разница?

Она замолчала. Прошло в молчании несколько секунд, трагичность которых еще более подчеркивалась тишиной, простотой убранства комнаты, коммерческими выражениями произнесенных фраз. Герсель искал, но не находил способа не дать ей высказать то, что она собиралась. Однако Генриетта начала говорить это в уверенных выражениях, продуманность которых ясно чувствовалась:

– Я сейчас же подумала, что объяснение найдется в счетах по имению... Они были далеко не в порядке... Если бы они были в порядке, может быть, мне ничего и не удалось бы открыть: поэтому-то в счетах до мая позапрошлого года... я не нашла никакой неправильности. Я подозреваю ее, но не могу доказать. Ведь так легко при небольшой опытности заставить цифры лгать!.. Но только отец имел неосторожность в течение последних двух лет охранить и официальные счета, более или менее точные, и личные записки, и большинство писем, которыми он обменивался с поставщиками и клиентами имения. Он ждал до последней минуты, перед вашим приездом, чтобы сострять балансы, предоставляемые вам, и кое-как подогнать их по своим личным заметкам и счетам... Потом он сейчас же запирает эти заметки и счета в свой сундук. А так как вы никогда не занимались проверкой...

Она не закончила. Герсель слегка пожал плечами и сделал движение губами, которое обозначало: «к чему».

– Вы не занимались проверкой, – начала снова Генриетта, – и, позвольте мне сказать вам это, господин граф, это было большим несчастьем... Вы слишком проникательны, да и у отца было слишком много врагов, чтобы вы не были уведомлены... Ну, и... было чем-то в роде... скверного поощрения давать этому человеку возможность представлять вам подогнанные балансы, которые даже не сходились, в которых с первого взгляда можно было видеть недочеты... – Она воодушевилась. Необходимость сидеть между столом и стулом стала для нее невыносимой. Она встала и, положив руку на спинку стула и глядя в землю, продолжала, отчеканивая слова: – Отец обкрадывал вас... и вы знали, что он обкрадывал, но вы давали ему возможность делать это... по некоторой инертности, или, вернее, презрению большого вельможи к маленьким людям, которые в счет не идут. Ах, господин граф!.. Конечно, этот несчастный был виноват... но вы были в значительной части ответственны за его несдержанность в злоупотреблениях. Если бы вы остановили его при первой же сделке, даже простив на первый раз, что было вашим правом, да и обязанностью, разве решился бы он в другой раз? Тридцать три тысячи франков!.. Вот та громадная сумма, которую мой отец украл у вас за два с половиной года, главным образом благодаря перестройке ферм, на что было потрачено более чем триста тысяч франков. Тридцать три тысячи франков!.. Где взять их, чтобы отдать вам? О, я хорошо понимаю, – ответила она на жест графа, – вы не требуете их у меня... вы дарите их мне... Но я не хочу, не хочу этих ворованных денег!.. Ну уж нет, извините!.. О, нет!..

Она должна была остановиться. Ее рот пересох, высохшие губы и язык нервно передернулись несколько раз.

Герсель сам чувствовал живейшее беспокойство и некоторое раздражение против противника, причинившего ему это беспокойство, но сказал очень спокойным тоном:

– Мне кажется, что вы немножко неосторожно волнуетесь и, простите за выражение, лишены хладнокровия.

О, как она вскинула голову, чтобы возразить! Но Герсель не дал ей сделать это и тотчас же продолжал свою речь:

– Да, у вас нет хладнокровия. То, что вы представили мне сверх отчета о вашем коротком управлении, об управлении вашего отца вплоть до последнего его подсчета со мной – не оставляет желать ничего лучшего. Но почему вы осмеливаетесь идти далее, возвращаться к тем счетам, правильность которых я уже скрепил своей подписью? Вы сравниваете заметки и

счетные книги, находите между ними несогласованность и заключаете, что ваш отец обманывал меня. Что вы можете знать об этом? Вы присутствовали при наших подсчетах? Вы можете засвидетельствовать, что между нами не было никаких сделок? Во всяком случае, разве я не имею права просить вас оставить то, что уже прошло, и заниматься только настоящим? Я подписал свое имя под балансами, выведенными вашим отцом, и никому не позволю оспаривать мою подпись.

Лицо Генриетты передернулось словно в безмолвном смехе.

– Вот как раз то, чего я ждала, – начала она. – Щепетильность графа Герселя страдает, когда ему говорят: «Вы позволили обокрасть себя», когда ему говорят о возмещении отнятого у него. А я, в силу того, что бедна и не ношу титулов, должна весело жить около вас, на вашей службе, когда я знаю, и когда вы знаете, что мой отец украл у вас тридцать три тысячи франков?! Вы на моем месте могли бы вынести эту мысль? Нет? не правда ли? Но вы думаете, что я должна выносить ее, и думаете это потому, что считаете меня существом низшим, более скверным, менее чистым, чем вы сами. Не возражайте, это – сама очевидность... И все вы таковы... Все прошлое, все революции ничему не научили вас, и вы оскорбляете нас всегда, даже тогда, когда воображаете себя великодушными, а после этого еще удивляетесь, что в народе образуется группа ненавидящих...

Она снова села и лихорадочно вытерла платком глаза, ставшие влажными.

«Но она невыносима! – подумал граф. – Что за отчаянную якобиночку вырастили Дерэмы! К счастью для нее, она очень красива»...

И действительно Генриетта была более чем когда-нибудь красива в своем «неглиже», как когда-то говорили. Ее волосы, слишком тяжелые, распустились; бюст волновался от рыданий; все тело содрогалось в резких, произвольных движениях. Но Герсель слишком наслаждался этим «неглиже», чтобы хоть сколько-нибудь сердиться на ее слова.

Наконец девушка сделала решительный жест, как бы желая пожурить самую себя, и снова начала:

– Я позволила себе наговорить вам много ненужных вещей... которые могут показаться вам грубыми... Это не входило в мои намерения. Уверяю вас, я чувствую доброту ваших отношений к отцу и ко мне... милосердие, если хотите, и очень обязана вам. Но справедливость я предпочитаю милосердию, которое всегда принижает того, на кого падает. Милосердие по отношению к низшему – это доказательство превосходства. Если бы в тот день, когда вы заметили первую проделку отца, вы поговорили с ним, как с человеком вашего круга, мошенничавшим в игре. Потому что есть ведь такие, которые мошенничают, не правда ли? Может быть, вы остановили бы его с первого шага...

– Не думаю! – не мог удержаться, чтобы не сказать, Герсель, рассерженный настойчивостью девушки.

– Почему?

– Потому что... вы право заставляете меня сказать это... У вашего отца не было этого чувства ответственности, чувства долга, настолько же чуткого, как у вас, а словами этого не вдолбишь.

Однако он сейчас же пожалел о своих словах: Генриетта разразилась рыданиями, неподвижно сидя на стуле и спрятав лицо в платок.

Тогда граф подошел к ней.

– Мадемуазель... Прошу вас... не ищите в моих словах ничего, кроме необходимого ответа на ваши сомнения, и не усмотрите в них чего-нибудь оскорбительного для памяти вашего отца!

Она открыла заплаканное лицо и промолвила:

– Вы сказали правду, а правда никогда не оскорбляет меня. Только... прошу вас быть добрым и справедливым до конца. Уверяю вас, я более, чем кто-нибудь, знаю слабости своего

отца. Но не забывайте, что отец и мать были уже на службе у ваших родителей; что с отцовской стороны можно найти вплоть до семнадцатого столетия слуг господ ла Фуршеттери, де Герсель и де Бро... И вот я обращаюсь к вашей справедливости... Как вы думаете: были ли все эти господа, ваши предки, хорошими воспитателями совести моих предков, ваших слуг? Вы ответите мне, что ничего не знаете, что это не касается вас? А я скажу вам, что ваши предки держали моих более или менее сознательно в моральной нищете, худшей, чем нищета денежная, убедили их, что они происходят из более низшей расы, созданной жить милостями великих, которых терпят, как домашних животных, если хотите... Любимая собачка вашей тетки, графини Гортензии, время от времени крада чайное печенье; ее бранили ради проформы, но в сущности это находили очень смешным и забавлялись этим. Так вы в своем кругу относитесь к порокам низших. Сколько раз я скрепя сердцем слышала, как ваши родители, ваши гости, даже вы сами говорили про того, кого презирали: «У него лакейская душа». У прислуги душа такова, какой ее сделали господа. Правда, среди них царит особая кургузая мораль, по которой красть у хозяина не считается преступным. Не забудьте, что именно в такой среде воспитывался мой отец: в среде, в которой все надежды на благосостояние основываются на грабеже и разорении имения... Как только он становится управляющим, искушение растет: со всех сторон искушают управляющего. С тех пор как я наследовала от отца управление имением, мне пришлось оттолкнуть десяток предложений смощенничать... – Она остановилась, чтобы вытереть влажные глаза, а потом продолжала: – но в конце концов ведь мы здесь не для того, чтобы рассуждать о социальной ответственности: наверное мы думаем не одинаково и нам не убедить друг друга. Важно вот что: благодаря своему характеру и беззаботности хозяев, мой отец украл у вас тридцать три тысячи франков. У меня их нет, вы знаете, следовательно я не могу из отдать вам. Первой мыслью у меня, когда я открыла все это, было отказаться от службы у вас и идти с матерью на нужду и бедствия, но затем подумав я решила, что именно здесь, находясь у вас на службе, я могу расквитаться с вами. Во-первых, из трех тысяч франков, которые вы платите мне, я постараюсь отдавать вам от полутора до двух тысяч каждый год, а потом я уверена, что экономией в расходах и увеличением доходности имений я сумею возместить вам то, что мой отец, заставил вас потерять. Я прошу вас только, господин граф, чтобы вы оставили меня у себя на службе, несмотря на злоупотребления отца.

Генриетта выговорила эти последние слова стоя, стараясь быть спокойной. Ее глаза высохли, но горели лихорадочным огнем, и Герсель, в результате жизненного опыта приученный наблюдать и знать женские эмоции, видел, что ее нервы с трудом выдерживают напряжение, что она готова при малейшем толчке упасть в обморок. Поэтому он не стал противоречить ей, а просто ответил:

– Это решено, все будет так, как вы желаете. Теперь присядьте, пожалуйста, и отдохните немного... Вот в это кресло... здесь вам будет удобнее.

Он подвинул ей одно из зеленых репсовых кресел. Генриетта, застигнутая врасплох этим согласием, которого она не ожидала так скоро, повиновалась и села. Ее смущало снисходительное и вежливое обращение графа; но она была слишком умна и проницательна, чтобы не различать, где видна снисходительность к женщине, а где – к служащей. И эта двойная снисходительность, обезоруживая ее, сердила ее и как слабую женщину, и как мятежную слугу.

Герсель заметил, что ее лицо стало натянутым, черты становились все суровее, а темно-синие зрачки, ничего не видя, уставились куда-то в угол, словно у молодой, пугливой кобылицы, и подумал: «Ну, вот, она опять разводит пары, чтобы начать снова. Здорово, черт возьми! Моя «управляющая» не из удобных, и если бы только не было такого удовольствия смотреть на нее».

Женские слезы для женолюбцев полны волшебных чар. Они внушают им желание схватить, словно страдающего ребенка, в свои объятия это женское тело, которое сотрясается в рыданиях, и силой поцелуев высушить источник огорчения. Так и тогда, когда Генриетта пла-

кала, Герсель должен был сдерживаться, чтобы не подойти к ней, не прижать ее к себе, не убаюкать нежными словами и ласками. Теперь, смущенный более чем он готов был признаться самому себе, он чувствовал непреодолимое желание принудить девушку совершенно раскрыть перед ним свое сердце, желание видеть ее в волнении от других страстей, чем от стыда, гордости или злобы. Он думал, как и большинство мужчин, выслушавших исповедь многих женщин, что ни одна страсть, кроме любви, не в состоянии бурно всколыхнуть женское существо и что когда женщина кажется взволнованной гордостью, то это – все-таки любовь, которая бродит под взрывами гордости. Что за любовь у этой? Он хотел это знать. Генриетта пришла к нему сегодня со слишком явным желанием поссориться с ним, крикнуть ему в лицо несколько истин, которые заставили бы его потерять терпение. И она крикнула ему кое-какие из них, но ловким маневром вежливости он позаботился предотвратить сцену. Теперь, собравшись с силами, девушка снова закусила удила; Герсель чувствовал, что если отпустить ее, то она уйдет, не говоря ни слова, домой, где неминуемо разразится нервным припадком. Он хотел, чтобы зрелище этого припадка произошло перед его глазами, сейчас. Скрепив подписью правильность последнего счета, он закрыл расчетные книги, сложил в порядок бумаги, чтобы дать понять, что коммерческие дела все покончены, и он не желает возобновлять их, а потом, заняв место в кресле маркиза де Бро, обратился к Генриетте Дерэм таким естественным голосом, как будто между ними никогда не происходило ни малейшего спора:

– Теперь, когда мы покончили с денежными делами, мадемуазель, я хочу поговорить с вами о другом... Может быть, я и не решился бы, если бы вы мне только что не напомнили обязанности руководства, которое, по-вашему, надо иметь над теми, чьим трудом пользуешься.

Генриетта почувствовала иронию под вежливостью фразы и выпрямилась, готовая к отпору. Но граф спокойно продолжал:

– Правда ли, мадемуазель, что вы отказались от всех брачных проектов?

– Но, месье...

– Не говорите мне, пожалуйста, что мой вопрос нескромен. Вы впадете в противоречие с самой собою. Или господа и слуги – люди совершенно различные, связанные только общими интересами, или они образуют тип семьи, где хозяева играют как бы отеческую роль. Вы стоите за последнюю систему, я тоже. Затем, – продолжал Герсель, как бы не замечая раздражения Генриетты, – инициатива этого разговора принадлежит не мне. Меня просили походатайствовать перед вами... Вы наверно догадываетесь, кто именно: это – мой молодой сосед из Тейльи, Мишель Бурген...

Генриетта передернула плечами.

– Я хорошо знаю, что вы дважды отвергли его предложение: в первый раз, как он сказал мне, под предлогом того; что вы еще слишком молоды, а во второй раз просто потому, что «вы не хотите выходить замуж». Я обещал похлопотать за него. Если я делаю это, то потому, что нахожу, что он – славный юноша, с хорошим сердцем, которым он действительно любит вас, и здравым рассудком, правильно смотрящим на вещи. Воспитанный родителями в наивных идеях мещанской мании величия, он сам избавился от этого недостатка. Все его честолюбие действительно заключается в желании стать вашим мужем, не мешая вам управлять Фуршеттери; он сказал, что поможет вам авторитетом мужчины и опытностью земледельца. По-моему, при ваших современных идеях, мадемуазель, вы должны найти, что это будет идеальный союз. Уверяю вас, он найдет мое полное одобрение. И, хотя месье Бурген объявил, что не потребует увеличения жалованья, я готов удвоить ваше, если этот проект осуществится. Генриетта, потупившись на этот раз, ответила:

– Я не хочу выходить замуж за господина Бурген, и то, чего он попросил у вас, отдаляет меня от него еще более. Я отказала ему два раза, пусть оставит меня в покое!

Сдерживаемое бешенство все еще бледнило лицо девушки. Герсель, который находил смутное удовольствие в этом бешенстве, пустил в ход последнюю шпильку:

– Но позвольте мне все-таки настаивать, мадемуазель, вследствие искреннего желания видеть вас счастливой...

Не сдерживаясь больше, она вскочила перед самым его креслом и воскликнула:

– Довольно, прошу вас, господин граф. Буду ли я счастлива, или нет, это вам совершенно безразлично... И как это естественно! О, я не дура, вы это знаете, я ясно вижу... Вы хотите проучить меня за то, что я только что говорила с вами таким тоном, который вам не нравится. Я имела дерзость критиковать ваш способ действий, чтобы уменьшить отцовскую вину! Вы мстите, унижая меня и третируя со сладенькими улыбочками, словно горничную...

– Сударыня!

– Я вам не горничная! С этого момента я отказываюсь от службы; но, я думаю, вы сами можете понять, что, когда я просила ее у вас, я не собиралась жертвовать своей свободой. Моя служба стоит более тех трех тысяч франков, которые вы мне платили: вы убедитесь в этом, когда меня не будет. Мой заместитель обойдется вам дороже отца... Ведь около отца, который крал, была я и защищала ваши интересы так, как и свои не могла бы лучше защищать... Поймите же теперь, что если я хотела оставаться на вашей службе, то прежде всего ради того, чтобы исправить прегрешения своего несчастного отца, виновность которого я подозревала даже раньше, чем имела доказательства... Это нужно было и затем, чтобы никто посторонний не мог обнаружить злоупотребления, которые я подозревала... Иначе... ах, я убежала бы на следующий же день после похорон из этой страны, из этого дома... особенно из этого дома, где в течение сотен лет, ваши родители эксплуатировали, притесняли, оскорбляли моих. Я проклинаю ваш дом, слышите ли, проклинаю его!.. Я убегу из него, как если бы он был объят пламенем. И пусть мне будет труднее заработать те деньги, которые я вам должна и которые я хочу вам отдать, но вы ничего не потеряете, уверяю вас!..

Она остановилась без дыхания и сил. Она была совсем близко от графа, спокойствие которого, слегка ироническое, выводило ее из себя.

Герсель понял, что она подыскивает что-нибудь оскорбительное, чтобы сказать ему этим охваченным судорогами ртом, который теперь едва выговаривал слова.

Прошло несколько секунд, и Генриетта продолжала:

– Вы получите свои деньги, господин граф, и для этого вам не придется выдавать меня замуж за человека, достаточно богатого, чтобы погасить долг. Вы получите их, получите, даже если бы мне пришлось ради этого умирать от голода. И если те деньги, которые я вам должна, я не сумею добыть головой и руками, то я заработаю их своим телом, слышите? Я уж подыщу людей вашего сорта из вашего круга, которые дорого заплатят мне, я уверена... По крайней мере, я буду выбирать среди них, и не вы продадите меня... за деньги... за деньги... вы... вы...

Она стала заикаться, ее глаза метались в орбитах; она судорожно схватилась руками за сердце, потом взмахнула ими в воздухе и, как пьяная, сделав несколько шагов, покачнулась и потеряла равновесие. Руки Герселя успели схватить ее в тот момент, когда, опрокидываясь, она готова была удариться об угол библиотеки. Он схватил ее; одно мгновение она сопротивлялась, потом дала себя отнести к кожаному дивану... Когда, чтобы сложить свою живую ношу, он нежно склонился к ней, она подняла голову и открыла глаза. Ее взгляд упал на глаза Герселя и последний больше не видел в них ненависти!..

О, мистическое красноречие человеческих глаз! Как иногда они могут сказать то, и так ясно, что нельзя выразить словами! Герсель понял тайну этого сердца, которое с удвоенной скоростью билось около его сердца, и девушка тоже поняла, что ее тайна разгадана. Прилив крови окрасил ее лоб и щеки, Герсель прижал ее к себе; но это она искала дрожащими губами врага, которого пришла оскорбить, это она дала ему поцелуй, поцелуй ненависти, сосредоточивший в себе весь трепет существа, поцелуй, который говорил, в котором губы, казалось, страстно просили прощенья за только что выговоренные слова, поцелуй пылкий и неумелый, но полный сладострастия.

Не выпуская Генриетты из рук, граф опустился вместе с заключенным в его объятия трепещущим ребенком на кожаный диван. Но тогда в ней заговорил девственный инстинкт, и она пробормотала: «Нет... умоляю... не теперь!» И этой слабой защиты оказалось достаточно. Герсель выпустил ее из своих объятий и стал на колени около нее. Он думал: «Раз я послушался ее, значит, я все-таки люблю ее?» – и он испугался этого неожиданно обнаруженного им несчастья.

– Сядьте там, около меня! – сказала Генриетта. Он опять повиновался. Ему казалось, будто он только что получил откровение любви, не только в том изумительном волнении, которое охватило его, но и в виде этой действительно влюбленной женщины, в котором проявилась перед ним маленькая мятежница, безоружная в этом мятеже. Он взял в руки одну из бледных, как бы бескровных рук Генриетты; смотрел на ее странное лицо, которое теперь сила чувства украсила действительной красотой, и подумал: «Без сомнения все это волнует меня так потому, что я угадываю здесь свою последнюю удачу!.. Однако что же тут удивительного? И чем это приключение отличается от всех остальных? В конце концов все женщины одинаковы!»

Но эта скептическая реакция не смогла побороть в нем искреннее волнение, волнение невольное, непреодолимое, дававшее ему радость возврата юности. Генриетта подавленно сказала:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.